

## ТОТ САМЫЙ СВЕТ ИСТОСКОВАВШИМСЯ ПО СВЕТУ

Мне кажется, Владимир Крупин — счастливый писатель. Он из того редкого вида русских писателей, которым не надо выдумывать тему или сюжет. Родился в вятской глубинке. Окончив сельскую школу, трудился слесарем, грузчиком, попробовал силы в журналистике. Образование получил в одном из престижных вузов страны — Московском областном педагогическом институте. Поработал на Центральном телевидении, в литературно-художественных изданиях... Словом, жил и живет полной духовной жизнью, и она подбрасывает ему такие темы, которые придумать невозможно, даже будучи самым изощренным выдумщиком. Не зря говорят, что до того, как стать писателем — писателем надобно родиться. И тут место рождения, годы детства — не просто география, а географический фактор, тесно смыкающийся с литературным. Особенно это значимо у такого писателя, как Крупин. До того как приехать на городские асфальты, где даже цветы вырастить сложно, надо с детства познать родной простор, когда утром выбегаешь во двор, где мычит корова, а рядом журчит река, кудахчут куры и голоса петухи, залиvisto лает любимая собака и таинственно шумит лес, приглашая за ягодами-грибами... Надо ощутить вкус родимой речи, слушая сказки бабушек на печи... Из ярких воспоминаний детства и вырастают его са-

мые лучшие непридуманные произведения, пополняющие золотой фонд ответственной словесности, прежде всего, такую бесценную сокровищницу, как «деревенская проза».

Имя Владимира Крупина всегда было на слуху, хотя он не мелькает по глубоким экранам и не мельтешит по всевозможным премиальным шорт-листам. Более того, несуетный северянин Крупин в литературных кругах прославился тем, что нередко отказывается... от премий. По нашим временам неслыханно. А ведь Владимир Николаевич, как и подавляющее большинство современных русских писателей, живет более чем скромно. Даже выпуская его произведения, издатели практически не платят гонорар. За книгу «Босиком по небу», к примеру, ему дали 20 его же книг, а за увесистый том «Россия спасет святость» гонораром стали 50 авторских экземпляров. И, тем не менее, Владимир Крупин проявлял и проявляет твердость в премиальном искушении, очевидно, не желая разменивать творческое писательское первородство на премиальную похлебку. Отказался, к примеру, от премии Льва Толстого, считая, что премия эта слишком светская, а духовные искания великого графа увели великого писателя слишком далеко от стези смирения и стяжания православно-благодатия.

Почти чудом стало для многих то, что сторонящийся разных поощрений Владимир Крупин все-таки стал лауреатом Патриаршей премии в области литературы имени равноапостольных Кирилла и Мефодия. По признанию Владимира Николаевича, эта премия для него совершенно особая, поскольку говорит о том, что так важно для него, как писателя, и что его творчество лежит в русле православных канонов, приводящих читателя к вере.

А на днях стало известно, что Владимир Николаевич стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Валентина Распутина. Думаю, наш великий классик порадовался на небесах такому выбору! Но меня поразило еще

одно. Как сказала мне по телефону его жена Крупина, Надежда Леонидовна, «Володя решил передать всю премию в специальный фонд на строительство памятника писателю Василию Белову в Вологде».

И невольно вспомнилось, как задолго до ухода Распутина из жизни шли мы как-то с Валентином Григорьевичем по Москве от метро Кропоткинская до его дома. Я напросился быть провожатым, надеясь хоть немного разговорить нашего молчаливого классика, так мне было (и осталось!) важно каждое его мнение. Сначала поговорили о семинаре молодых писателей в Чите, где мы десятилетия назад познакомились. Как выяснилось, после того семинара Валентин Григорьевич приезжал в мою родную Читку еще дважды, в том числе на фестиваль «Забайкальская осень». Встретиться тогда мы уже не могли, так как я к тем временам отправился в свои странствия по России. Как-то само собой получилось, что заговорили мы о Владимире Крупине. И тут, как на грех, мы подошли к дому Распутина. Я уже был почти уверен, что наш разговор о Крупине повис в пространстве, как вдруг получаю 26 июня 2003 года от Валентина Григорьевича из Иркутска письмо:

*«...Вы спрашивали меня о Владимире Крупине. При встрече нам не удалось поговорить. Я дружу с Крупиным около 30 лет и не однажды писал о нем. Почитайте хотя бы «Рассказы последнего времени» о Крупине. Сейчас ему стало полегче, потому что 10 лет он не мог издаваться «книгами», а сейчас книги пошли... Публикация в «Нашем современнике» его повести «Сороковой день», вернее, об истории с публикацией, потому что одно время все только и трубили об этой публикации. В чем тут может быть вина Крупина, я не пойму. Он написал повесть и принес ее в журнал Юрию Селезневу, заму Викулова (главного редактора журнала «Наш современник» на тот момент. — Э.А.). Повесть понравилась. Викулов поблагодарил ее. Обратились за отзыва-*

*ми к членам редколлегии Василию Белову и Валентину Распутину. Они под-держали повесть. Скрепя сердце, редактор согласился на публикацию, а потом, когда разразилась гроза, сваливает, и по-своему справедливо, ответственность за публикацию на Селезнева... А никакого участия Крупина в том, публиковать или нет повесть, не могло быть речи. Он, как всякий автор, ждет только ответа. И в сущности Сергей Викулов больше должен обижаться на Белова и на меня за наш вкус, а не на автора, безропотно ждавшего решения...»*

...Публикация повести вышла шумной, пришлось на ноябрь 1981 года и вызвала скандал в аппарате ЦК КПСС. Ее восприняли как очернительство советской деревни. Особенно возмутили чиновников-партократов пассажи о телевидении, что было в повести. Крупин уже тогда писал, что телевидение, не успев зародиться, выливает в эфир пошлость, а чаще пустоту никому не нужных сведений. В конечном итоге, именно это сегодня стало главной сутью современного российского ТВ — кордебалет бездарных певчих и певцов, тонны никому не нужных сведений, которые «прокасают», не успев прозвучать в эфире... Первым о трагедии национального телевидения заговорил Владимир Крупин, за что и был подвергнут партийному ostrакизму. Вместо того чтобы прислушаться к его словам, партийные бонзы обрушили на писателя, а заодно и на журнал, посмеявшийся напеча-

тать правду, весь свой номенклатурный гнев... Правда, чиновники во все времена были далеки от идеала. И не будем отвлекаться от нашей темы, а именно — темы творческого созвучия двух наших ведущих русских прозаиков. Когда в 1985 году у Крупина вышла книга «Дорога домой» с предисловием Распутина, там были такие строки: «...Проза Владимира Крупина это нечто особое в нашей литературе, нечто выдающееся и на удивление простое...»

Ну, а что касается моего «открытия Крупина» — им стал рассказ «Полонез Огинского» в журнале «Сельская молодежь», потом уже вышла его первая книга «Зерна». Когда я стал бывать в Москве, в правлении Союза писателей России, там мне посчастливилось познакомиться с Владимиром Николаевичем лично. Постепенно у меня скопилось довольно внушительная библиотека книг Крупина с его дарственными автографами. Памятна мне и наша встреча с Владимиром Николаевичем на празднике «Сияние России» в Иркутске, когда в составе писательской группы ездили на малую родину Валентина Распутина в поселок Усть-Уда. Похожий на свою прозу — светлую, добрую, воздушную, куда хочется войти и остаться, — Владимир Николаевич Крупин в наше время, как никто, дает истосковавшейся по свету душе читателя этот самый свет, в основе которого Вера в Бога и Любовь к ближнему.

*Эдуард АНАШКИН,  
член Союза писателей России*

## **ЗМЕЯ И ЧАША**

*(Рассказ-притча)*

**О**на жила так давно, что не помнила, когда родилась. Она была всегда. Умудренная тысячелетиями настолько, что ей не нужны были доносчики, чтобы сообщать, кто и что о ней говорит и думает, она сама обо всем и обо всех знала. И она знала в последнее время, что молодые змеи смеются над ней. И знала почему. Она несколько раз в последние годы уклонилась от встречи с людьми — их врагами. Она, помнившая времена, когда вся жаркая середина Земли трепетала от засилья змей, когда к гробницам и пирамидам фараонов, считавших себя

равными богам, их трусливые рабы боялись подойти, ибо все сокровища гробниц принадлежали змеям. Она, помнившая времена Великого рассеяния змей по лицу необъятной Земли; она, ставшая символом исцеления от всех болезней, опоясавшая чашу с живительным ядом, обкрутившая державные скипетры всех царей; она, изображенная художниками в такую длину, что ее хватило бы стиснуть весь земной шар и головой достигнуть своего хвоста; она, вошедшая не только в пословицы, но и в сознание своими качествами — змеиной мудростью, змеиной хитростью, змеиной выносливостью, змеиной изворотливостью, змеиным терпением...

Чего ей было бояться? Ей, родной сестре той змейки, что грелась на груди Клеопатры, сестре всех змей, отдавших свой яд в десятки тысяч кубков, бокалов, стаканов, незаметно растворявшийся и делавший необратимым переход от земной жизни в неведомую ни людям, ни змеям другую жизнь.

Чего было ей бояться? Всегда боялись ее. Молодые издевательски шипели меж собой, что она жалеет своего яда. Что возражать! Не она ли за тысячелетия добилась того, что яд тем более прибывает, чем более расходуется.

Ей, бессмертной, кого бояться? Ей, выступившей во времена рассеяния за Великое единение змей, а за это провозглашенной бессмертной самим Змием, тем, который был на древе познания, когда свершался первый грех, сделавший на все времена людей виновными уже за одно зачатие, а не только за появление на свет, — ей чего-то бояться? Вот прошел сезон змеиных выводков, прошел настолько успешно, что, будь Змея помоложе, она бы возгордилась результатами своего многовекового труда: все прежние территории были полны подкреплений, были захвачены новые пространства, но Змея считала, что иначе быть не может.

Весь секрет Змеи был в том, что она хотела умереть. Она не умела радоваться, торжествовать, она умела терпеть и бороться, умела веками работать над улучшением и сплочением змеиной породы, она была всюду карающей десницей великого Змия. Она всегда поражалась его расчетливой, насмешливой прозорливости. Только Змий, в отличие от нее, умел наслаждаться результатами труда.

— Что сейчас не жить! — восклицал он. — Сейчас все змеи знают о конечной нашей цели — власти над всеми пространствами и племенами! А помнишь тяжелые времена? — спрашивал он Змею. — С нами боролись так сильно, что мы были символом греха, нас попирали, карали, изгоняли как заразу, — о, сколько клятв о мщении вознеслось тогда к моему престолу! Нет худа без добра: считая, что с нами покончено, они стали убивать друг друга, и мы успели собрать гаснущие силы. Помнишь, как славно было греться на камнях, бывших когда-то в стенах храмов и жилищ, как славно оплетали развалины хмель и дурман, как славно пахли повилика и полынь? О, этот запах запустения, в котором нет запаха человека!

Да, Змея помнила эти времена. Помнила их клятвы превратить все города планеты в развалины. Вот тогда и был создан тайный из тайных жертвенный тайник змеиного яда. Огромная подземная чаша, освещенная отблесками золотоносной жилы, приняла тогда первые капли ритуального яда. Теперь все змеи перед уходом в свои регионы, а также при возвращении из них перед смертью отдавали часть своего яда в огромную чашу. Яд кристаллизовался, превращался в твердые янтарные россыпи, они ослепляли. Чаша наполнялась.

Змея хотела умереть не так просто, она хотела изрыгнуть весь свой накопленный яд — а его скопилось очень много — в чашу, а сама, обернувшись вокруг нее, замереть навсегда. Она думала, что заслужила эту великую честь. Но умереть без позволения Змия она не могла. И вот она в бесчисленный раз появилась у его престола.

В глазах рябило от бесчисленных узоров на спинах и головах самых разных рептилий. Это не было роскошью, нет, здесь было единение, демонстрация змеиной силы, и где, как не здесь, над тайником их всесветного сокровища, собрать всех представителей грядущего властительства Земли!

Пола не было видно — сплошное шевеление скользкого узорного ковра: протягивались длиннейшие анаконды, удавы гирляндами висели на потолке и стенах, серые и черные гадюки простирались у подножия престола, по краям его, как маятники времени, качались кобры, гюрза крутилась волчком, бронзовые медянки искорками порхали всюду, — все шевелилось, и все расступилось, выстелилось перед ней, замерев; только кобры продолжали отталкивать время вправо и влево. Почетное сопровождение осуществляли самые разные змеи: слепуны, аспиды, бородавчатые, ошейниковые, игольчатые, ближе к ней двигались желтобрюхие полозы, а поодаль, непрерывно и торжественно оглашая воздух шуршащими звуками, виднелись гремучие змеи.

Змея втянула себя в коридор перед престолом, отметив, что мышцы ее упруги, как у молодой, что она еще вполне в состоянии свернуться в пружину и выстрелить себя как свистящий, неотразимый снаряд. Склонив голову, она ждала разрешения говорить.

Змей кивнул.

— Великий, могу я просить, чтобы разговор был у жертвенной чаши?

— О да!

Когда она увидела чашу, ее решение умереть стало окончательным — чаша должна была вот-вот наполниться. Дело ее огромной жизни завершилось. В ней поднялось внутреннее содрогание, так знакомое по встречам с врагами, такой прилив силы, что показалось даже — ее холодная кровь немного согрелась. Нет-нет, она отдаст свой яд потом, перед уходом. Она примерилась, она окружила чашу своим крепким, красивым телом. Охрана чаши почтительно расступалась. Да, как раз хватает. Хватает ее длины на окружность чаши. Она давно ничего не ест, ее тело придет сюда высохшим, в последний раз в обновленной шкуре, скоро она выползет из этой, она уже чувствует зудение новой кожи, рожденной на смену.

— Повелитель, — сказала Змея, — я знаю цену твоему времени и буду говорить кратко.

— Нет, — возразил Змий. — Трижды нет. Ты не из тех, кому я могу запретить: мы с тобой помним стены Вавилона, мы с тобой готовили разврат жителей Содомы и Гоморры, мы грелись с тобой на грудах золота, когда оно было еще простым камнем, — и после этого ты будешь торопиться?

— Великий, я помню первые две капли, которые мы с тобой отдали на дно этой чаши. Но время настало, я сделала все, чтобы ты более не нуждался во мне, я создала несколько родов, которые будут всегда рождать себе подобных, улучшая их, закаляя во злобе, делая мысль о мировом господстве не мечтой, даже не целью, а само собою разумеющимся делом. Осталось последнее: чтобы люди поняли нашу власть над ними, и тогда мы разрешим им жить...

— Помнишь день символа, — символа исцеления от всех болезней: змея и чаша? Как они поддаются внушению, как легко оказалось ими управлять, но как долго мы к этому шли, надо только вбить в их костяные черепа, которые после смерти так прекрасно служат жилищами для змеиных семей, что зло можно обратить во благо, что добро побеждает зло. Но уже доходит, уже дошло до них, что злые живут лучше, что все блага принадлежат им, что лишение совести ведет к победе над собой, что... Я перебил, прости.

— Ты знаешь мои мысли, но не до конца, Великий. Я решила прожить смерти не от скромности, как ты понимаешь, напротив. Сделав все для нашей победы, я хочу навсегда остаться ее знаком, я и после смерти хочу поклонения; до твоего прихода я опоясала наш жертвенник, его окружность равна длине моего тела.

— Ты заслужила это, Змея. Но все-таки я не понимаю: почему то же нельзя совершить и после нашей победы?

— Я скажу. Сейчас я бы умерла, уверенная в ней, но из всех чувств, замененных злобой, мы оставили в змеях обостренное чутье опасности. Ты помнишь, когда Он приходил. Он приходил, когда уже все было готово для захвата власти.

— Да. Но Он больше не придет. Не сможет. Они сами виноваты, вынудив нас на борьбу, это и Он, должно быть, понял. Что бы делали они без понятия зла, которое несем мы, олицетворяем в злых поступках, что? Наше оружие — их страх перед нами и наша способность к провокациям. Первородный грех был не сам по себе, я спровоцировал его. Мы населили мир соблазнами: деньгами, похотью, успехом, властью, избавлением от усталости, — нет человека, который бы устоял. Когда зло было явным, явились аскеты, которые могли устоять против соблазнов. Они называли злом свои пороки, ну и пусть борются, пусть тратят свою жизнь, нам-то что! Нет, Он не вернется. Они думали, что прогресс им поможет, а тем самым копают себе могилу. Они задыхаются от выхлопных газов, на которые мы не реагируем, змеи могут выжить даже в камере смертников. Ради шутки можем и мы повеселиться, некоторые змеи легко могут жить в сиденьях автомобилей, прекрасно путешествовать до тех пор, пока не надоест хозяин машины, — чем плохо?

— Великий, я продолжу. Змеи могут перестать быть злыми только мертвыми. Я и сама могла греться последнее столетие на бетонных сооружениях, асфальте, металлических трубах, сама внушала змеям нечувствительность к запахам и вещам цивилизации... Они осушали болота, тем самым множили нас, делали наш яд более страшным, от страданий укреплялись наши зубы, делались мельче, но смертоноснее. Твои слова о том, что мы не должны оставлять следов, осуществлены: мы их не оставляем — ни на песке, ни на траве, ни в лесу, ни на воде.

— Сейчас даже и это не важно. Нет-нет, Он не явится. В те века, разогнав нас, Он давал людям свободу выбора — и что? Они начинали кричать о порядочности, а пока они кричали, ими начинали командовать не порядочные. Они начинали выть о смысле жизни, задавать один и тот же бессмысленный вопрос: зачем, для чего живет человек? А мы знаем. Мы живем для власти над ними. Тогда и они узнают, зачем живут.

— Великий, у них есть еще способность помнить.

— О, у очень немногих. И пусть помнят. Пусть помнят свои слабые предания, легенды, хилые рассказы про былое могущество, которое вдохновляет их на веру в будущее, пусть! Их же единицы. И тех, кто помнит,

мы тоже помним. Чаша перед нами — разве мы жалеем черпать из нее на нужное дело? Нет, Змея, трижды нет твоему решению покинуть нас.

— Я не посмею ослушаться, Великий, но я должна сказать, что в полнолуние я почувствовала тревогу.

— Должно быть, сильный ветер или разряд молнии. Ветер и солнце — наши враги. Если бы люди использовали для энергии ветер и солнце, тогда бы я испугался первый. Успокойся. Живи. Люди специально для нас перегораживают реки, они решили затопить свои пространства, убить все живое. Они поняли, что мы всеильны, что мы разбросаны всюду, но едины. Мы всегда опередим инстинктом и скоростью действия, о, мы еще увидим холодные шевелящиеся змеиные сплетения на развалинах столиц. Ты хочешь уйти, когда их безумие, их жадность дошли до предела, они перестали ценить чужую жизнь, у них нет понятия о чужой боли, мы отдали им эти свои качества, — нет-нет, живи, Змея! Ты же видишь, их не надо убивать, они сами убивают друг друга! Живи!

И вот Змея возвращалась. Она решила проверить побольше мест гнездований, даже не столько этих мест, сколько пространств меж ними. Все было лучше, чем она предполагала. Глядя узкими сухими глазами, она видела всюду знаки разрухи и катастрофы: брошенную технику, опустевшие, одичалые поля, вырубленные леса, пустые деревни и поселки, ржавые рельсы железных дорог, трещины асфальта и всюду свалки мусора. И везде навстречу Змее выходили из нор и укромных мест ее соплеменницы, легкий свист постоянно звучал всюду, и где бы ни находились люди, за ними спокойно и выжидательно следили змеиные взгляды.

По пути было Большое Поле. Змея не любила его: оно было пропитано кровью давней битвы. О, змеи чуют кровь на земле, как акулы в океане, за многие, многие расстояния, но это была особая кровь, от нее исходила явная угроза, и змеи предпочитали обползать Поле стороной. Однажды она увидела, а потом всегда знала, что люди приходят сюда, приносят цветы, некоторые даже, уединившись, стоят на коленях. И получают силы, но не телесные, которые получают змея, питаюсь кровью, а особые силы — силы мужества. Все-таки Змея, зная, что за ней наблюдают тысячи и тысячи змей, решила ползти напрямик.

Уже в самом начале она ощутила в себе глухое сопротивление, как сигнал опасности завибрировал в ней спинной мускул. Но она заставила себя продвигаться дальше. И здесь Змея увидела Его! Он шел легкой, летящей походкой, седые волосы непокрытой головы и борода серебрились в закатных лучах. Что ж! Мгновенно к Змее пришло решение — эта смерть будет почетнее любой, она с такой скоростью согнула тело в спираль, что над нею взлетели опавшие листья.

Он приближался. Еще, еще... Вот! Она с силой, содрогаясь всем телом, оттолкнулась и... была отброшена непонятной упругой волной. Она еще напрыглась — и снова отшатнулась. Он удалялся. Все такой же летящей была походка, все так же бодро и размеренно касался земли Его посох. Змея, делая огромные прыжки по обочине, догнала Его и хотела кинуться сзади, со спины. И вновь — прозрачная отбрасывающая стена. Тогда пусть Он убьет ее, решила Змея. Она по обочине обогнала Его и вытянулась поперек дороги. Он приблизился и засмеялся:

— Иди и скажи Змию, что я вернулся, чтобы он явился ко мне с повинной позади всех змей, скажи, что времена смены шкур, времена вашей угрозы прошли. Вам не дано больше затмевать маяки и сбивать с

дороги корабли. Скоро я коснусь посохом вашей жертвенной чаши и превращу ваш яд в песок. Вы были посланы в наказание и испытание, вы решили, что предела злу нет. Предел есть. Он в нашей силе наступать на вас. Иди!

Он пошел дальше. Он даже не наступил на нее, а переступил, как переступают через брошенную за ненадобностью палку. Змея, извернувшись, рванулась к Нему, но получила такой удар, что очнулась не скоро. В бессильной злобе, корчась от позора, она, открыв страшную пасть, вцепилась зубами в огромный камень на перекрестье дорог и услышала, как ломаются зубы, как хлещет из пасти сверкающий желтый яд.

Поздним вечером того же дня Змея была у Змия. Он знал о встрече. Он только хотел многое уточнить.

— Великий, это была неведомая сила.

— Проклятье! Куда Он шел?

— Не знаю. Там было три дороги. Когда я очнулась, Его не было.

— Я думаю, Он не с этой Земли. Здесь все боятся нас.

— Это был Он.

— Для нас лучше, что Он не с этой Земли. Пусть так считают во всех змеиных пределах. Мы укрепим охрану чаши настолько, что даже случайный человек, оказавшийся вблизи, исчезнет бесследно. О-о, сегодня, в разгар полнолуния, тревожный вечер. Я спросил тебя, куда Он ушел, неспроста. Люди не могут поглощать расстройство, как мы. Ты встретила Его в Поле, а с севера пришло страшное сообщение. Там тоже ссылаются на Него, говоря, что Он учинил явление Света. Свет сам по себе не страшен нашим узким глазам, но это был особый Свет. Мало того! Этот Свет делил всех не на старых и молодых, не на самцов и самок, не на черных и белых, не на умных и глупых, нет! Все делились на злых и добрых. Добрые радовались, злые падали на землю и ползли прочь от страха. Самые злые змеи превратились в бессильные плети. На кишку они были похожи! — закричал Змий. — На кишку, полную смертельного страха!

Все так же вправо и влево раскачивались у его трона кобры. Вот подошел полуночный час. Подползла сзади и встала на смену новая пара кобр. Только вдруг заметила Змея, что эти кобры качаются чаще и не в такт. Змий поднял голову. Кобры попали в ритм и выровнялись.

— Птицы распелись среди ночи! Небо стало бездонным, каждый листочек трепетал от счастья — вот какой был Свет! Крысы дохли от разрыва сердца, никакой твари не осталось даже малой темной щели, чтоб скрыться, — вот какой был Свет! Если такой Свет будет здесь, яд и впрямь станет песком.

— Великий! — наконец решила Змея. — Ты мог бы говорить с Ним для начала о дележе Земли. Ты мудр, обмани Его. Признай Его силу, проси для нас условий существования.

— Боюсь, что Он не согласится.

— Ты сказал слово «боюсь», Великий.

— Да, — четко произнес Змий, — боюсь, что Он не согласится... Так. Тебе следует продолжать свое дело пополнения и воспитания выводков.

— Слушаюсь, Великий, но те, что испугались Света, принесут плохое потомство.

— Их убьют, я уже распорядился.

— Мои зубы, они не скоро отрастут.

— У нас достаточно запасов свежей крови, чтобы помочь тебе.



От входа, стремительно извиваясь легким бронзовым телом, приблизилась отмеченная особой метой медянка. Склонила голову.

— Говори, — велел Змий.

— Великий и высокоумудрый, на наши сигналы вновь нет ответа.

— Продолжайте. Не давайте вырваться в космос никаким сигналам, кроме наших.

Медянка исчезла.

— Я поняла, — сказала Змея, — ты пытаешься связаться с другими змеями других миров. А вдруг их там нет?

— Молчи! Трижды молчи! Молчи всегда об этом! Иначе тебе не дожить до новых зубов. Прости, но даже с тобой я прибегаю к угрозе. Змеи есть везде, запомни это и втолковывай каждым новым поколением. Везде, всюду и всегда. До этих тревожных дней не было в этом мире сплоченнее нас, увереннее нас, и это надо продолжить и усилить. Не жалеть яда на новые, подчиняющие тело и мысли ритмы, на бесовские страсти к вину и плотской любви, к деньгам, к власти, к успеху, ничего не жалеть! Охранять плантации наркотических растений! Убивать внезапно и без всякой системы! Тех, кто помнит прошлое, кусать не до смерти, но до потери памяти. Заставить их голодать, бросать недостроенное, ссориться и грызть друг друга, заставить их уничтожать все запасы пищи и топлива, заставить их и дальше безумствовать в разложении вещества, в сжигании для энергии отходов природы... Пусть они задохнутся в дыму и копоты своего прогресса, пусть отравятся радиацией, пусть живут и думают, что они живут! Пусть они без конца болтают и думают, что этим что-то изменят. Нет, Он не сможет ничего сделать, мы так много успели — Он пришел слишком поздно.

Змий опустил голову, показав этим Змее, что она должна идти. Навстречу ей ползла новая стража тронного времени.

Ничего, думала Змея, вползая в воду спокойной реки и отдаваясь течению, ничего. У змей есть силы, змеям есть из чего собирать новые силы, ничего, они крепнут от неудач...

— Ванька! — звенел над рекою мальчишеский голос. — Ты чего не забрасываешь, я уж вторую поймал!

— Сейчас заброшу! — кричал в ответ другой мальчишка. — Вот только эта коряга проплывет.

## ПОЛКОВНИК-ПАЛОМНИК

В аэропорту к нашей паломнической группе у стойки регистрации подошел молодежавый, крепкий мужчина и спросил:

— Рейс в Израиль? В Тель-Авив? Аэропорт Бен Гурион?

— В Святую Землю, — ответил я.

Он сверился с билетом:

— Я с вами. — Зорко оглядел нас: все женщины, все в основном в годах, увидел в группе одного мужчину, то есть меня. Познакомились.

В самолете сидели на разных местах, а в монастырской гостинице нас поместили в один номер. Конечно, мы стали на ты.

— Мы — братья во Христе. Как мы к Нему обращаемся? «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси, сохрани и помилуй», — так чего мы друг другу будем выкать?

— Это-то, конечно, — согласился он, глядя на Библию на тумбочке и

на иконы в переднем углу. — Но мне дружка путевку подарили, сказали: отдых, море, экскурсии, магазины, женщины.

— Нет, брат, тут долгие поездки, стояния на молитвах, ранние вставания. А уж пляжей вообще никаких. И женщин тут нет! Тут не туристки, тут паломницы.

Он затосковал:

— Вот я вляпался!

— Да ты что? Это же великое счастье — мы в центре мира. Ты на Святой Земле! Ты крещеный?

— Ну, как иначе, я же русский полковник!

В автобусе мы сидели вместе с ним. Первая поездка была в Вифлеем, и она очень его впечатлила. Особенно поразило благоговение, с которым все шли и прикладывались к Вифлеемской звезде. Он тоже приложился. Вверху потрясенно спросил:

— Так это точно, что здесь Иисус Христос родился?

— Да, здесь.

— И все так и было? Подлинно?

— Все, как в автобусе матушка рассказывала. Места в гостинице им даже не нашлось. Пришли в эту пещеру. Волхвы принесли Ему золото, как царю, ладан, как священнику, смирну, как простому смертному. А пастухам ангел с небес возвестил: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение». Да, Павел Сергеич, все так и было.

— Да не темный я, что-то читал. Но чтобы так, что все по-настоящему? Двухтомник у меня был, «Мифы народов мира», за ним гонялись, интересный. Прометей, Ахиллес, Афины Паллады всякие, все боги, боги... И о Христе там много. Я и думал, раз мифы, и тут миф.

— Но ты же видел, люди в церковь идут! Какой миф?

— Я так соображал: если есть общий предмет поклонения, легче народом управлять. И Ельцин со свечкой стоял, и Путин бывает. Я сильно и не вдавался. Да и когда при нашей службе? Ну, миф и миф. И жить кому помогает. А нас-то как воспитывали? Мы же верили в светлое будущее.

— Мы сейчас как раз в светлом будущем. Паша, подумай, какой же это миф — Бог воплотился от Духа Святаго и Марии Девы и вочеловечился. Он был и человек, и Бог. И страдал как человек. Он за нас, за наши грехи, за тебя и за меня сам (сам!) добровольно взошел на Крест. Любил людей, мог и на небесах оставаться. Пришел к людям. А что получил? Крест, гвоздя, копие! Всемогущий! Всеведущий! Создавший из ничего мир. Мог призвать легионы небесных сил. Но не призвал!

— А почему?

— Спасти хотел гибнущий мир, жалел нас! И спас!

— Как?

— Смерть уничтожил!

— Смерть? — воззрился на меня полковник. — Как?

— Смерти нет вообще, вот как!

— Куда ж она делась? Да мы только что хоронили сослуживца. Тоже, как и меня, молодого, выперли в запас, а что он без армии, не пережил. Инфаркт молодеет.

— Раб Божий Павел, запомни: смерти нет! Читать будешь Евангелие, поймешь. Хорошо, скажу проще: ты помрешь или нет?

— Куда я денусь, конечно. Не убили, так помру.

— Нет, ты не помрешь, ты родишься в жизнь вечную. В ту, которую зарабатываешь, живя здесь.

Полковник долго молчал. Мы уже сидели в автобус и ехали на Поле Пастушковых, когда он, как-то встряхнувшись, еще раз спросил

— Значит, так и было?

— Именно так!

— Ну тогда, — подытожил полковник, — тогда давай, просвещай!

С последних сидений мы не видели матушку Ирину, которая нас сопровождала, она сидела к нам спиной, лицом к движению, но слышали ее проникновенный голос. Иногда замолкала, тогда я продолжал. Боясь быть занудным, говорил:

— Запомни: все в мире сложно, только одно просто — Бог. И не влезай во всякие умничанья. Теизм, атеизм, пантеизм — все это знать можно, но не нужно. Заинтересуешься — сразу начнет только голова работать, тут и гибель. Сердце, душу питай! Молись и все! Мы столько должны Богу, что нам за всю жизнь долги не отработать!

— А я чем Ему должен? Конкретно?

— Жизнью ты должен, жизнью! Вон какой орел, а мог и не быть.

— Жизнью? Меня папа-мама выродили.

— Так они-то откуда взялись?

— Их тоже родили.

— А те откуда? И те, и те, и те? От живой клетки? А клетка откуда?

Из какой клетки? Всякие инфузории-туфельки? Выползли на сушу, выросли до обезьян, залезли на дерево, так? Потом хвост отпал, встали на лапы, изобрели книгопечатание? А всякая умственная европейская шпана обезбоженная, руссо-вольтеры, ницши-шопенгауэры говорили: дошли мы от обезьяны до человека, надо дальше идти, к сверхчеловеку. Вот тебе и фашизм. От обезьяны один Дарвин произошел. Мы от Бога. От Адама и Евы мы. А их Господь сотворил! Кто главный в мире? Кто, товарищ полковник?

Полковник подумал, поглядел за окном, мы пробирались через пробки:

— Кто? Может, мировое правительство? Оно же есть. Масоны же не вымерли пока.

— Ну да, есть. А сколько их было и сколько будет? Главный в мире Тот, Кто жизнь сотворил. Господь Бог. — Очень внимательно вслушивался полковник в мои слова. Не возражал. — Сейчас у тебя главное в твоей биографии событие: ты на Святой Земле. Я не первый раз, но и мне это великое счастье. Приехали мы с тобой сюда из Святой Руси. Святая Русь — Святая Земля — это одно и то же.

— Одно и то же? — переспросил он. — Так зачем мы приехали?

— Почти одно и то же, — поправился я. — Тут мы за десять дней пройдем все и Господские и Богородичные праздники. И хорошо, что начали с Вифлеема. С Его Рождества. Увидим место Благовещения в Назарете, и где было Преображение Господне, на Фаворе, Богоявление на Иордане, Воскресение в Иерусалиме, Вознесение на Елеоне. Вдумайся! Без Бога ни до порога. Россию лихорадило именно тогда, когда она отходила от Бога. Чингиз-хан, Наполеон, Ленин, Гитлер, — это нам бывало для вразумления, когда Бога забывали. Давай, Павел Сергеич, к концу срока готовься к причастию! Готовь генеральную исповедь. Вспоминай грехи от юности твоя и записывай.

— Чего их записывать, я и так помню. Я еще об сейф не ударенный.

— Куришь? Нельзя курить! Это каждое дыма сатане.

— Нельзя? Ладно, нельзя, значит, не буду, — сказал он.

И ведь, в самом деле, как отрезало — перестал. Сила воли у него не хромала.

Назавтра в Троицком соборе Русской Православной миссии в Иерусалиме мы купили нательный крестик (полковник непременно захотел дорогой), и я своими руками надел его на шею раба Божия Павла.

Но с ним было очень нелегко. Матушку Ирину он взял да и назвал на ты и Ириночкой. Он услышал, как она объяснялась с уличным продавцом, арабом.

— Ириночка, ты и по-ихнему рубишь?

— Иначе нельзя, — улыбнулась матушка Ирина. — Здесь надо знать и арабский, и английский, иврит тоже.

— Ну, ты молоток! — одобрил он.

Я оттащил его в сторону и вдалбливал:

— Так не смей говорить с монахиней. Она монахиня, она матушка!

— Матушка? — потрясенно спросил он. — А еще чем обрадуешь? Какая она матушка, такая молодая... А ты знаешь, ей идет черное. Я сразу не разглядел. Да она же красавица. И без косметики.

— Прекрати! Она не женщина!

— А еще чего скажешь?

— Еще скажу, что она старше тебя в духовном смысле.

— Ну, сказалул.

— Не ну. Вот тебе и грех — неуважение к сану.

— Она же не обиделась.

— Вспомни, на кого не обижаются. Тебе надо словесное молоко, а не твердую пищу.

— У меня зубы крепкие. Я как на какого разгильдяя только взгляну — сразу сверху донизу мокрый. — Полковник помолчал, вздохнул. — Да, вот бы из нее жена вышла. Все ее достают, дергают, всем все объяснит, ни на кого не цыкнет. Спокойная. Все с улыбкой. Терпеливая. А у меня жена такая дура психованная.

Очень ему понравилась матушка Ирина. Он стал ее первейшим помощником. И за стол не садился, пока все не сядут, из-за стола выходил первым, подгонял отстающих. При посадке в автобус стоял у дверей и энергично помогал паломникам.

— Ты повежливей с ними, — просил я.

— Они что, в санаторий приехали? Жир нагуливать? Это же Святая Земля, центр Вселенной. Ты же сам мне пуп Земли показал.

— Терпение вырабатывай. Пример с матушки бери.

— Слушаюсь! Я-то слушаюсь, а они? На той остановке одна отстала, склонилась к цветам, любитесь. Листочек сорвала. Я ей сразу: «Почему не в строю?»

— Но она же листочек-то домой повезет. Это называется малая святынька, как не понять?

— Задерживает общее движение. Пусть срывает в свободное время.

Для матушки он стал незаменимым. Пересел поближе к ней. После остановок, при начале движения, она уже спрашивала:

— Все собрались? Павел Сергеевич, поехали?

— Так точно!

Паломницы стали его бояться. Никто никуда не опаздывал. Наша группа стала самая образцовая. Никаких ЧП.

— Дисциплина, — изрекал полковник, — основа правильной жизни. При молитвах на святых местах он стоял навтыжку, крестился исто-во. Отстоял и долгую утрению.

— А я-то думал, — говорил он, — что у меня ноги железные. Ты же в армии служил, знаешь. Стоишь у Знамени части в штабе, не шелохнись. Два часа. Потом четыре часа отдых. Тут четыре без отдыха. Спина немеет.

— Делай поклоны глубже.

Он доверился мне, рассказал, что у него в семье дело пришло к раз-воду, и когда ему эту путевку подарили, он ее схватил, чтобы побыть без жены. Честно признался, что надеялся на курортный роман.

— Думал, какое будет знакомство. А чего теряться? В поездке все мы холостые.

— А из-за чего решил разойтись?

— Ни в чем не угодишь, все ей неладно. Что бы ни сказал, все не так. А молчу — тоже неладно. Друзья зашли — морду воротит. Но главное — детей не хотела. На это она вся больная. Кто она после этого?

— Так вы по любви сходились?

— С ума сходились. Перед выпуском из училища, больше по пьян-ке. — Да вот, покажу. — Он достал бумажник. — Вишь, где она у меня, умеет прятаться: между шекелями и долларами. — Красивая? Показал я тебе, дорогая, Святую Землю, а дальше живи сама. — И фотокарточку порвал, и клочки в урну бросил.

— Ты что?

— А у нас уже все равно все к финишу подошло.

— Она в церковь ходит?

— Да нет, где там, с чего? Когда Патриарх бывает по телевизору, то тогда когда и послушает.

Нам дали полдня свободных. Полковнику нужно было купить какие-нибудь сувениры.

— Надо ж отблагодарить. Может, они хотели подшутить, что купи-ли сюда, а не на курорт. А видишь, как Господь управил. — Так и выра-зился.

— Ничего случайного нет, — добавил я.

Пошли по лавочкам. В них я на него даже сердился. Он торговался ужасно. Что называется, до потери пульса. Не своего, продавца. А в Иеру-салиме все продавцы говорят по-русски. Почти все из России.

— Паша, ну что ты так?

— Я не жадный, а лишнее платить — дурной тон. Запомни. То есть и я могу тебя чему-то научить.

— Девочка, — говорил он полной еврейке, — мы тебя в России всему выучили, образование у нас бесплатное, а ты еще чего-то требуешь. — Обязательно много выторговывал и уходил от продавщицы довольный. Еще бы, чуть ее до обморока не довел. И объяснял мне: — А зачем я свои кровные буду евреям отдавать?

В гостинице читали вечерние молитвы. На ночь пили чай. Смотрели карты Святой Земли, планы Иерусалима, Назарета, Вифлеема. Я расска-зывал, где что. Полковник, рассматривая карты, превращался в военачальника.

— А здесь будем? — нацеливал он палец. — А тут? А сюда повезут?

— Павел Сергеич, все же по программе, с одного раза все не охватить. Я вот не был в Акко, это напротив Хайфы, а надо бы: там Наполеон по

морде получил, но не вразумился, полез в Россию. Но в программе Акко нет.

— Впишем. Меня матушка Ирина послушает.

Я только вздохнул.

— Давай спать.

— Вообще, знаешь, что тебе скажу, какой у меня вывод из наблюдений, — сказал он, — порядка тут нет. — Помолчал и после паузы усилил: — Никакого! А я это терпеть ненавижу.

— Откуда ты взял?

— Я сразу на военных гляжу. Идет пичужка в зеленой форме — штаны велики, ноги в ботинках болтаются, автомат не на плече, а на сгибе локтя висит. И... курит! При оружии курит!

— У них женщины в армии служат.

— Да это-то, может, и неплохо. А парни военные стоят, тоже курят. Тоже с автоматами. Все расстегнутые, наглые. Такие, хоть что, будут в народ стрелять. Да все равно, не много они навоюют.

— За них американцы повоюют.

— А эти вообще давно по морде не получали... Да, японский бог, порядка тут нет.

— Нас тут не хватает, да? Паша, не ругайся, грех. За каждое, не только бранное, но и праздное слово взыщется.

— Если японский бог ругательство, как тогда разговаривать? Слушай, как думаешь, Патриарх знает о беспорядках на Святой Земле? Или от Него скрывают?

— Каких, например?

— Ну вот, в Кане Галилейской, например, наш участок есть, а его заняли и не отдают. Что это такое? — И после паузы: — А о чем бы мне таком умном завтра у матушки Ирины спросить? — Тяжело вздохнул. — Ой, ну вот что она сейчас делает?

Я посмотрел на часы.

— В это время монахини смотрят сквозь зарешеченные окна своих келий на звездное небо и думают о судьбе России.

Его расположение к матушке Ирине было, конечно, замечено. Он же на виду. Ясно, что матери игумении донесли. И на четвертый день утром у автобуса нашу группу встречала новая сопровождающая, монахиня Магдалина. Святую Землю любящая, досконально изучившая. Полковник на первой же остановке отвел ее в сторону и допросил. И рассказал мне, что узнал. А узнал он, что у матушки Ирины новое срочное задание — дальняя поездка с группой на Синай. А это дня три.

— Сам виноват, — хладнокровно сказал я. — Ее из-за тебя туда отправили. Ты бы еще в полный голос кричал о своей любви.

Полковник заговорил с такой болью, что я поверил в его искреннее чувство:

— Да я и любви-то еще не знал! Наобум, с лету женился. Да, может, это у меня единственный шанс — создать семью. Детей же нет у меня! А я очень семейный! Мне же и полста нет...

— Молись! В храмах подавай о здравии жены. Венчанные? Венчайся!

— С ней? Ни-ког-да! Я сказал тебе: финиш!

— Дело твое. Но о матушке Ирине забудь!

— Забыть? А чего полегче не посоветуешь? Я запылал. Вот! — Мы

стояли перед храмом в Кане Галилейской. Он истово перекрестился. А крестился он, как шаг строевой печатал. — Вот! Вот! И вот! И вот! — И упал на колени и так треснулся лбом о плиты, что площадь вздрогнула.

— Не крестись на грех. Лоб береги!

— А зачем он мне теперь?

— Напомнить тебе пословицу: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет?

— Я лучше плиту расшибу.

Полковник даже чуть ли не курить снова начал. Но удержался. Молча сидел у окна автобуса, смотрел на пространства Святой Земли. Его крутило переживание. Иногда он даже как-то пристанывал.

Его переживание дало разрядку в его поступке, в Горнице Тайной вечери. Перед нами туда вошла группа протестантов. Мы вошли, крестясь, встали у входа и ждали. Они по команде выстроились. Их старший громко что-то рассказывал. Вскрикивал, махал руками. Конечно, о том, что здесь были собраны апостолы и на них, по предсказанию, в день Пятидесятницы, сошел Дух Святой. Рассказывал долго, наращивая вскрикивания. Матушка вполголоса переводила, что он тоже, как и апостолы, ждет приближение Духа. «Я слышу Его! Он идет! Он близко! Я чувствую Его! Да! Да!! Да!!! Он... он где-есть! Он во мне-е!» И его прямо застряло.

И через минуту-другую они уже все *чувствуют*. Вздевают руки и хором то ли кричат, то ли поют.

— Но орать-то зачем? — спросил полковник матушку Магдалину.

— Не знаю. Может быть, показать, что они такие, достойные Духа Святаго.

— Матушка, — попросил полковник. — Можно я его спрошу? Передадите ему.

Протестанты гуськом выходили. Полковник резко тормознул их старшего. Взял за пуговицу.

— Ты чего в таком святом месте орешь? Ты что, апостол? Какой тебе Дух Святой?

Протестант мгновенно вспотел. Матушка торопливо говорила ему: «Ай эм сори, ай эм сори!». Тот, прикладывая руку к груди и торопливо оглядая полковника, говорил: «О, кей, о, кей». Их группа быстро освободила Горницу Тайной вечери.

— Ну, Павел Сергеевич, ну, ревнитель нравственности, что ж вы так? — выговорила матушка Магдалина полковнику. — Это ж мог быть скандал международный. Я прямо еле живая.

— С ними только так, — четко ответил полковник. — Святая Земля, понимаешь, а они орать.

Я тоже поддержал возмущение полковника: очень уж показушно молились протестанты. Моя поддержка улучшила его настроение.

— Еще бы! Да и матушка Ирина меня бы одобрила.

— Ну, снова да ладом! Забудь о ней! Говорю по складам: за-будь! Ты человек сильной воли. Забудь. У тебя, внуши себе, хорошая жена.

— Хорошая? С чего ты взял? Тебе б ее, ты б ее... давно убил!

— Молись, будет хорошая. Ты русский мужчина! Русский мужчина верен жене! Единственной! Усвоил? И у русской жены единственный муж.

— Это в теории. А как в практике достичь? Тебе хорошо, ты уже старик. А я еще кровокипящий.

Мы готовились к отъезду. Полковник очень страдал, пошел в канцелярию узнать, когда вернется группа с Синая. Сказали, что уже вернулась. Полковник рванулся увидеть матушку Ирину, но ему сообщили, что мать игумения сразу послала ее сопровождать новую группу.

— Вот ведь какая Салтычиха! — возмущался полковник. — Да тут хуже, чем в армии!

— Не хуже, а лучше.

— Даже маршрута не сказали. А то бы я рванул на такси.

— Паша, опять двадцать пять?

— Можно, я одну сигаретку выкурю?

Думаю, в наступившую ночь он выкурил не одну сигарету. Аж лицом потемнел. Среди ночи поднял меня и объявил, что не полетит в Москву, а поедет в Русскую Миссию и будет просить оставить его на Святой Земле.

— Пусть хоть куда приспособят. Хоть в тот же Хеврон. Или Иерихон. Я их пока не выучил, путаю. Но везде же работы невпроворот. А я мужик рукастый. Что по технике, что по дереву, печку могу сложить. Русскую. Камин. Все могу. И матушка Ирина когда туда группу привезет...

— Ой, Паша, Паша. Трудничество оформляется в Москве. Конечно, ты по всем статьям подходишь. Тогда, уж лучше, вообще в монахи готовься. Сколько монахов из военных: Игнатий Брянчанинов. Александр Пересвет, Андрей Ослябя... Только оставь ты эти свои завихрения с любовью. Дай ты ей спокойно жить.

— А кто не дает? Сама будет решать. Она вернется, все равно ее увижу. Объяснюсь! Она же России нужна. Дети будут. Я детей больше всего люблю. Ты ж видишь, Россия чернеет, рождаемость русская падает. Она поймет. Да и чувствую, нравлюсь ей. Разве криминал, что я, как мужчина, имею право на семейное счастье? Имею? Чего ты молчишь? В Тивериаде на озере она со мной как с человеком поговорила. И смотрела не как монахиня. Как девушка обычная. А в Бога она может и так верить. Да и я. Бабушка, помню, говорила: Паша, больно ты жалостливый, священником будешь. А жизнь-то в военные вывела. Но там тоже, везде же бывал — попадешь под обстрел, жмешься к земле, и только одно: Господи, Господи! Господи, Господи! Я не от Бога ее оттягиваю, я ее полюбил. Впервое!

— Паша, перетерпи. Как налетело на тебя, так и отлетит.

— Нет, отец, ты что? С мясом не оторвешь.

И опять он маялся, опять не спал. Выходил на улицу, возвращался, стоял на коленях у икон. А утром заявил:

— Нет, жизнь моя или с ней, или никак.

И в самом деле, случилось событие из ряда вон выходящее: паломник-полковник с нами обратно не полетел. Дальнейшую судьбу его я не знаю. А хорошо бы в старых, добрых традициях православной прозы закончить рассказ о полковнике тем, что вот приехал я недавно в дальний монастырь, встречаю седого монаха, узнаю в нем героя моего рассказа и спрашиваю:

— Помните ли вы, отец игумен, матушку Ирину?

— Я Бога помню! — отвечает он. — Ты смотри, на службу не опаздывай. Тут у нас не армия, тут дисциплина.



Писатель, и очень известный, полюбил. Лучше сказать, увлекся. Но увлекся крепко. И хотя отлично, при его-то опыте, понимал, что «не стоит она безумной муки», но, но и но...

Приезжал в Москву, жил у нас. Мы всегда были рады ему, но у меня с ним одно не сходилось: я не мог сидеть ночью, слабел, разговор не поддерживал, а он как раз ночью бродил, зато назавтра валялся до полудня.

Сидит, роется в своих сумках, ищет лекарства, и громко рассуждает:

— Московские умные шлюхи насилуют знаменитых провинциалов. Готовься писать рассказ о том, как старый, нет, лучший, в возрасте, человек выдумывает себе утеху и, конечно, обманывается. Но! — поднимает палец, — отметь то, что любит он сильнее, чем та, что — важная деталь — сама признается ему в страстной любви. Он любит сильнее и надежнее. Думает о ней ежечасно и! полагает, что и она так же думает. Серьезно думает. Это его идеализм. — Шарит и шарит по сумкам. — Рассказ назови «Вечерний разговор о... например, о Скотте Фитцджеральде». Но рассказ о другом. Читатели это любят. Ей надоело уже мое присутствие в мире. Она сейчас, конечно, утешается с другим. А чего я ищущ?

— Лекарство ты ищешь.

— Да. Но я его уже нашел. Я ищущ носки.

— Прими лекарство, а то опять потеряешь.

— А носки где?

— Я тебе свои дам. Больше ничего умного не говори, а то я спать хочу.

— А лекарство-то где? Ты же не бросишь человека не принявшего лекарства? Представляешь, ко мне вернулось состояние, что сидишь где-то в людях, что-то говоришь, а думаешь о ней. Ты ложись, ложись, а я посижу, напишу письмо, пока душа полощется. Пусть она изменяет, я буду любить. Любить и лелеять любовь. Душа потом отблагодарит. Подожди, я же книгу ищущ... А, нашел носки.

Уходит в ванную, стирает носки, поет:

— Лебединая песня пропе-ета-а, но живет еще э-э-хо любви. — Выходит из ванны: — Как? Эхо живет. А эхо живет?

— Ну, пока звучит.

— Красивость это или нормально?

— Ну, если живет, конечно, нормально. Хотя вообще все это у тебя с ней ненормально.

— Но меня недолюбили! — восклицает он. — Отца не было, мать на работе, девчонок боялся. Одиночество полное! От одиночества стал писателем.

— Так одиночество для писателя это норма. Без него ничего не напишешь. Я ж тоже все время рвущ в деревню.

— Это поверхностное — бег от семьи в деревню, или там на дачу. Временное уединение. Нет, когда одиночество глубокое, постоянное, настоящее...

— Значит, еще лучше напишешь.

— Как ты жесток! Занавес еще только поднят, а ты уже убиваешь. — Опять начинает что-то переключать в сумках. — Пиши. В семнадцать лет он еще был хорош, пел песни и разыгрывал из себя знаменитого актера, похотливого старичка, который любил ничтожных актеров. Читал искусственным голосом Толстого и Пушкина: «Барышня, платок потеряли!» — «А Катюша все бежала и бежала...». Он не знал жизни всех этих мерзавок, которые его обманывали. Хм-хм! Голос прочищаю. «Я все твержу: я нежно так, я нежно так, тут повтор, нежно та-ак тебя люблю-у».

Тут снова надо спеть повтор. Она меня хотела какобы только увидеть. «Ах, вот вы какой, ах, я прочла ваше ожидание любви, я поняла, что это обо мне, и вот я и пришла». О, радость, муза в гости! А получилось вот что. Запиши: нельзя быть копией жизни. Литература — это самостоятельная выдуманная жизнь, которая навязывает настоящей жизни правила игры. Деревенской прозе не хватило пары белых усадебных дворянских колонн.

— Да эти дворяне после 61-го года приходские школы уничтожали, чтоб мужики оставались неграмотными. Земские создавали, а из них священников выгоняли. Дворяне!.. Паразиты и захребетники! — возмущаюсь я. — Дворянская культура! Да она только для них и есть. Французский учили, чтоб слуги их не понимали. Тургенев крестьянку шестнадцати лет купил и сразу ее в наложницы. А перед своей французенкой шестерил. И вообще все западники такие! А читателей им больше досталось. Да плевать! Все, спать пойду.

— «Судьба решила все давно за нас», — поет писатель и комментирует: — Жуткие слова, «все решено за нас». Но если судьба — суд Божий, то все правильно. И на эту же мелодию (поет): «Я душу дьяволу готов прода-ать».

— Но это уже совсем ужас, — говорю я. — Это ты не смей: заступник народный готов продать душу дьяволу за что? За лживую бабенку?

— Вот так и бывает, — говорит он и снова роется в сумках. — Да! Зная, что живем первый и последний раз, что добро было всегда и будет всегда, что зло было, есть, но не будет, попадаем во зло. — Поет: «Зло появилось точно из-за на-ас. Но в будущем ему не-э жить!»

— И этих бесовок не будет? — спрашиваю я. — Это вряд ли. Будешь чай? Свежий заварю.

Он бросает на пол найденную книгу.

— Зачем я ее искал? Спроси, зачем я ее искал. А лучше спроси, зачем я ее писал? Может, чтобы именно она прочла и нашла меня? Старичок, думал ли я, — он даже руки вздевает, — что может быть такое сильное наваждение темной силы? Спать идешь? А мне мучиться и страдать? Но я счастливый.

— Счастье в чем?

— Счастье в оживлении работы сердца.

— Работы какой? На эту бесовку? То есть именно она оживляет работу твоего сердца? И ведет к надписи на могильном камне: «Эн-эн погиб не на дуэли, его страдания доели». Объявляю: ухожу спать.

— Какой сон? Тебе счастье выпало — слушать мои откровения. Спать? Продолжу о бабье. У них знания сосредоточены в сумках и сумочках. Поэтому они нуждаются (пауза) в носильщиках.

Сходил в коридор:

— Старый еврей рассказывает внукам о поездке в Москву: «Деточки, я жил у очень богатых людей: у них везде горит свет».

— Дедушка, это они освещали тебе дорогу в туалет.

Он садится, немного отпивает из чашки.

— Это ты новый заварил?

— Ты же все равно спать не будешь.

— Думал сейчас, что Бунин это уровень Рахманинова. Я записывал его еще на колесный магнитофон. И тогда же знал наизусть «Таню», рассказ из «Темных аллей». Пересказать?

— Давай. Я подсуфлирую. А знаешь, что в старости он страшно, как и Толстой, матерился? А их возносили — не Шмелева, не Лескова.

— Надо сесть и написать работу «О тех, кто долго был забыт». И откликнется родная душа. «Рояль был весь раскрыт и струны в нем...» Да, осталось верить в рыдающие звуки. Выпью. За Афанасия Афанасьевича.

Толстого он переживет. И за Астафьева надо выпить. Это певец искаленного народа. Не набрался нежности, жил мстительностью к советской власти. Любить ее было не за что, но жить при ней было можно. И надо было жить. Чего не хватало? И мы прожили все-таки! Я ощущаю себя, будто только заканчиваю пединститут и не знаю, чего меня ждет.

Опять начинает рыться в сумках:

— Хотел тебе подарить, мне подарили, о Зарубежьи. Адамович, Иванов, Зайцев, Берберова, Бунин опять же, хоть и матерился. Автор с некоторыми был в переписке, взял их письма, бросил на грядки страниц, пересыпал текстом, и все. Нет, приказчик в начале двадцатого века был выше советского писателя. Цинизм московской критики — это ругань даже не извозчиков, а таксистов. — Подходит к окну: — Запиши: как небесны мысли, когда смотришь на вершины ночных вязов.

Я уже тоже напился крепкого чаю и смирился, что еще придется долго не спать. Он вещает:

— Жизнь надо прожить, чтобы собрать богатую библиотеку.

— И обнаружить, что она не нужна и что ее выкинут.

— Даже и с пометками?

— С ними еще быстрее. Так что не трудись их делать.

Он понурился, тут же поднял голову:

— Русские писатели в шестидесятые написали правительству письмо о гибели русской культуры. И Шолохов подписал. И на письме, — писатель кричит, — была резолюция! «Разъяснить тов. Шолохову, что в СССР опасности для русской культуры нет!» Понял, да? Эта резолюция обрекала Россию. Вот когда погибла советская власть. Почему было не появиться коротичам, вознесенским, войновичам, евтушенкам, почему было не обвинять Шолохова в плагиате, почему было не раздуть непомерное величие Солженицына, убийственное для литературы. Так-то, милый. Одна и та же операция: вырезать, унижить, оболгать лидеров русского слова, внушить дуракам, что по-прежнему мы сзади мировой культуры. Внушили же! Дни нечистой силы стали праздновать!

— Плюнь, не переживай. Русские не сдаются.

И еще прошло время. И опять он приехал. Опять сидим. Но стал он какой-то другой:

— У меня будет страшная старость. Въезжая в нее, я все еще вписывал кое-что в ловеласовский блокнот, а? Хорошее название? Да? А потом что стало? Помни — нельзя иметь дело с бабами и оставлять об этом письменные следы. Бабы — это твари!

— Ничего себе поворотик. Да ты ж прошлый раз речитативы и арии о ней свершал.

— Тварь! Сняла копии, давала читать, подбросила журналистам. Чтоб развести. Но не будем о ней. — Сидит, молчит. Встряхивается: — Будем о нас. Мы, наше поколение, вошли в классику как воры в трамвай, всех очистили и выдали за свое. Но это было спасительно для классики. Ибо иначе вошла бы в нее шпана и убила бы классику. А мы сохранили. — Берет со стола кружку, протягивает: — Свежий? Нацеди, любезный.

Подходит к окну. Я напоминаю, что в тот раз по его просьбе записал о возвышенных мыслях при взгляде на вершины ночных вязов. Даже небесных.

— Да? Я так сказал? Очень неплохо, очень. Так что и без баб русская литература не пропадет.